
Елена Дар
Век, который
мне не шёл

Елена Дар
Век, который мне не шёл

https://litres.ru/74874764
SelfPub; 2026

Аннотация

Год тысяча восемьсот двадцать четвёртый. Мария теперь Ольга Дмитриевна, тридцать шесть лет, незамужняя старшая сестра помещицы из уезда под Тверью: дочь разорившегося барона, хозяйка городского магазина готового платья и мастерской при нём. Дом, куда она попала, живёт скромнее, чем позволяет: имение заложено на девять тысяч, серебра в шкатулке на триста рублей, а опекун Вари уже нашёл выход. Семнадцатилетнюю Варю отдадут вдовцу, и долг закроется. Племянница здесь не невеста, а платёж.

У Марии нет ни мужа, ни прав, ни родни, которая станет за неё говорить. Зато есть глаз, ножницы и привычка считать. Она начинает с того, что умеет: перелицовывает племяннице платье и ставит ей спину, берёт первый заказ за пять рублей и заводит собственные деньги, учится торговаться с купцами, разговаривать с заимодавцами и не отводить глаз, когда ей объясняют, что не женского ума дело.

Содержание

Дырка в асфальте	5
Чужое имя	16
Дом, где всё чужое	32
Долговая книга	46
Зеркало	60
Платье по фигуре	73
Первые деньги	84
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Елена Дар
Век, который мне не шёл

Век, который мне не шёл

Дырка в асфальте

В половине седьмого утра набережная принадлежит мне и ещё четырём сумасшедшим. Собачник с рыжим псом, две женщины с палками, лыжник, который и летом ходит по асфальту, и я: третий километр, ровный темп, никого не трогаю.

Утро было такое, что жалко бежать быстро. Воздух холодный и лёгкий, с реки тянуло водой, в лужах лежало небо, и дышалось так, будто внутри у меня всё вымыли и проветрили.

Бежится легко. Ноги сами, дыхание само, и мысли бегут так же, ни за что не цепляясь: в одиннадцать примерка, лён, синее платье к вечеру, поставщик после четырёх. Всё это далеко и нисколько не мешает.

У меня своё ателье, и я его люблю больше, чем принято признаваться вслух. Восемь лет назад у меня были машинка, стол и уверенность, что если умеешь шить, то прорвёшься.

В наушнике щёлкнуло.

— Мария Андреевна, доброе утро, — сказала Ксюша. — Тут из транспортной звонили.

— Где лён?

— В пути.

— Это я и вчера знала.

— Я тоже, — сказала Ксюша с удовольствием. — Я спро-

сила, где именно в пути. Он ответил: «Женщина, не волнуйтесь». Теперь волнуюсь я.

— Правильно волнуешься. Катина мама придёт раньше одиннадцати: чай, салфетки, платье не показывать.

— А если спросит почему?

— Скажи, что платье сохнет.

— Оно же не сохнет.

— Вот и славно. Значит, не соврём, а просто не всё скажем.

Ксюша помолчала, давая мне понять: спорить бесполезно. За это я её и люблю. Пришла она ко мне на три недели продавцом, а осталась на три года и теперь знает про невест больше, чем я про ткани.

— И ещё, — сказала она. — Катя звонила. Спрашивала, можно ли прийти с подругой.

— Зачем?

— Сказала: «Чтобы мама отвлекалась».

— Пусть приходит.

Пусть приходит кто угодно, лишь бы в ателье было шумно. В тишине, я заметила, люди начинают придираться к швам.

— Мария Андреевна, а вы где?

— Бегу.

— В шесть утра?

— В полседьмого, — сказала я. — И это лучшее, что случится со мной за день.

Я свернула с набережной во дворы: там короче, а дома

меня ждали душ и кофе.

Посреди двора рабочие ковыряли дорогу у открытого люка. Конусы стояли криво, крышка лежала рядом, аккуратно, как тарелка. Я обошла их и взяла влево, к бордюру, где было свободно. У самого бордюра, я потом вспомню, темнел второй люк — без конусов, прикрытый крышкой не до конца.

Нога ушла вниз внезапно: земля исчезла, как исчезает ступенька в темноте. Я успела подумать про колено и про примерку в одиннадцать.

Удар, звон — и темнота.

Сквозь неё меня позвали. Голос был далеко, за стеной и за дверью, и звал он не меня. Приятно, когда тебя зовут не тебя, но голова от этого не перестаёт болеть.

Очнулась я от боли в затылке, а не сбоку, над бровью. Я лежала, и подо мной было мягкое, прохладное и гладкое, а сверху — стёганое одеяло с плотной каймой. Такого у меня дома не было: у меня одеяло серое, в мелкий рубчик, и я его сто лет собиралась поменять.

Мысль первая: я не на асфальте. Вторая, неприятная: жаль, я так и не узнала, чем кончилось с льном. Третья, уже совсем деловая: значит, надо выяснить, где я, кто здесь главный и сколько у меня времени.

— Очнулись! — сказали рядом, и голос сорвался. — Господи, очнулись!

Я открыла глаза. Надо мной наклонилась молодая женщина в белом чепце и тёмном платье, круглолицая, с припух-

шими от слёз глазами, и в руке у неё было мокрое полотенце.

— Ольга Дмитриевна! Слава богу! — Она всхлипнула. — Вы пришли в себя.

— Скорую, — сказала я. Голос вышел сиплый, чужой, будто я неделю молчала. — И телефон… позвоните, пожалуйста.

Женщина замерла с полотенцем в руке.

— Что?

— Врача. Доктора.

— Доктора? — Она выпрямилась и попятилась от постели. — Так я ж за лекарем! Я мигом, Ольга Дмитриевна, я сейчас…

Вот тут я и поняла, что сказала не то. «Телефон» прошёл мимо: слово было незнакомое, и она его просто пропустила. А «доктора» она испугалась так, будто я попросила не помощи, а подтверждения, что всё начинается сызнова.

— Простите, — сказала я мягче. — Я бредила. Голова ещё не моя.

— Голова, — повторила она шёпотом и перекрестилась. — Ох, Ольга Дмитриевна. Седьмой день.

Седьмой день. Цифра была круглая и ничего мне не говорила.

За дверью послышались шаги, торопливые и лёгкие, и женский голос, звонкий, нисколько не испуганный:

— Прося, отвар неси! И скажи там, чтобы пирог не пересидел, я его знаю.

Шаги ушли, и голос тоже.

— Это кто? — спросила я.

— Наталья Дмитриевна, — сказала женщина с полотенцем и почему-то улыбнулась. — Сестрица ваша. Она у нас… — тут она поискала слово, — заводная.

— Заводная, — повторила я. Слово мне понравилось.

— Седьмой день вы здесь, а она и лекаря, и попа, и знахарку, всех перебрала. Соседка наша, Анна Гавриловна, присылала свою настойку; Наталья Дмитриевна её вылила в горшок с фикусом и сказала, что фикусу тоже надо иногда страдать.

Смех отозвался в виске так, что я закрыла глаза.

— А вы кто? — спросила я, когда прошло.

— Евдокия. — Она присела на край постели. — Я при вас, в городе. Который год при вас.

— В городе, — сказала я, и это оказалось вторым словом за всё утро, которое мне понравилось.

— Евдокия, — сказала я. — Вот что. Голова у меня после жара как решето: одно держится, другое ушло, и я сама не знаю, где что.

— Ох, Ольга Дмитриевна.

— Погоди охать, ты мне помоги. Расскажи мне всё. Про меня, про сестру, про племянницу, про дом этот. Всё, что знаешь, без пропусков и без жалости. А я буду слушать и сама разберусь, что помню, а что придётся узнавать заново.

Евдокия смотрела на меня, и в глазах у неё было уже не

только жалостливое, а ещё и деловое: она, видно, любила, когда её о чём-нибудь просят как следует.

— Без пропусков? — переспросила она.

— Без пропусков.

— Да я вам хоть до вечера, — сказала она и села поудобнее. — Только вы уж тогда не перебивайте, а то я собьюсь.

— Не буду.

Дальше она рассказала, и с каждым её словом картинка складывалась всё отчётливее — только не та, которую я заказывала.

Звали меня, выходит, Ольга Дмитриевна. Тридцать шесть лет, дочь барона, который разорился, потом умер и оставил двум дочерям долги, серебро и хорошее воспитание.

Серебро продали, и Ольга на вырученное уехала в город, купила небольшой каменный дом и открыла внизу магазин: готовое платье, ленты, кружево, материи. При магазине — мастерскую и двух помощниц, которые там и шьют; сама она за иглу берётся редко, а больше кроит и принимает заказчиц.

Я слушала и запоминала: дом, магазин, помощницы. Это не бред, это хозяйство.

А потом она, то есть я, крепко простыла на почтовой станции и семь дней горела так, что её собирались соборовать.

— Так я что, у сестры в гостях? — спросила я.

— У сестрицы, у Натальи Дмитриевны, — подтвердила Евдокия. — Вы к нам приехали с товаром. Барышне Варваре наряд понадобился.

— Какой наряд?

— Хороший, — сказала Евдокия с достоинством, и я поняла, что подробностей она либо не знает, либо не расскажет.

— А хорошо у меня шили? — спросила я.

Евдокия посмотрела на меня так, будто я спросила, умею ли я дышать.

— Ольга Дмитриевна. Да к вам в город из уезда ездили.

— Из уезда?

— Из уезда, — подтвердила она. — Приказчица сказывала: одна барыня приехала за восемьдесят вёрст и сказала, что ей нужно платье, как у губернаторши, только лучше.

— И что?

— Вы ей скроили лучше. Катя да Груша сшили, а вы кроили. — Евдокия вздохнула. — А потом её муж пришёл в магазин и просил больше так не кроить.

— Почему?

— Сказал: «Жена в нём хороша слишком, я с ней по-человечески поговорить не могу».

Я засмеялась, и висок опять отозвался. Значит, руки у меня и здесь стояли как надо, и помощницы тоже были не зря.

— Катя, — сказала я. — Надо же. И у меня там Катя.

— Где там? — не поняла Евдокия.

— Нигде. Это я так. Своё.

— А что, — спросила я, — баронская дочь, которая сама торгует, это как?

Евдокия поджала губы.

— По-разному, Ольга Дмитриевна. Иные в уезде до сих пор вас осуждают. А иные едут за восемьдесят вёрст и говорят, что им лучше, чем у губернаторши.

— Значит, едут.

— Едут, — кивнула она. — А вы и не спорите. Вы говорите: «Пусть осуждают, лишь бы платили вперёд».

— А деньги? — спросила я, потому что в любой непонятной ситуации надо выяснить главное.

— Деньги идут, — сказала Евдокия уверенно. — Не то чтобы рекой, а без провалов. Вы же всё сами считаете, у вас книжки, и в них всё записано.

— Книжки, — повторила я, и это было уже третье слово за утро, которое мне понравилось.

— Всё записано, — кивнула она. — Только вы их с собой не взяли. Сказали: не по-родственному приезжать с книгами.

Я запомнила. Книжки, значит, в городе, в доме, и в них — весь мой новый мир, аккуратными столбиками. Это меня почему-то успокоило сильнее, чем всё остальное.

Я лежала, смотрела в потолок с лепной розеткой и делала то, что всегда делаю, когда вокруг всё рушится: считала, что у меня есть. Есть дом в городе. Есть магазин. Есть Евдокия, которая при мне. Есть сестра, которая заводная, и есть племянница, которой нужен наряд.

— Давай встану, — сказала я и села.

Комната качнулась в одну сторону, я — в другую. Евдо-

кия успела подхватить меня под локоть и уложить обратно так привычно, будто делала это всю неделю. Впрочем, она и делала.

— Лежите, Ольга Дмитриевна. Вы у меня в руках как куль.

— Спасибо, — сказала я. — Всегда мечтала.

— А зеркало где? — спросила я, отдышавшись.

Она принесла маленькое ручное зеркало в раме красного дерева. Я посмотрела и отложила: не я. Разбираться буду утром.

— Ну и дела, — сказала я вслух.

— Что, Ольга Дмитриевна?

— Ничего. Лицо — дело наживное.

Евдокия всхлипнула: она решила, что я жалею о красоте. Я не стала спорить, пусть думает так, пока я не разберусь.

— А год какой? — спросила я как можно равнодушнее. Спросить надо было, а пугать её не хотелось.

— Тысяча восемьсот двадцать четвёртый, — сказала она и нахмурилась. — А что?

— Ничего. Проверяю, помню ли. Помню плохо: после жара у меня в голове как в корзине с лентами.

— Ох, — сказала Евдокия. — Это ничего, это пройдёт.

Двести с чем-то лет. Я лежала и перебирала, чего тут нет: кофе не будет, анестезии тоже. Зато есть лён. Значит, будем шить из льна. И хорошо бы — не хуже, чем у губернаторши.

— Евдокия, — сказала я. — А ты мне вот что скажи. Что

я за человек была?

Она задумалась. Надолго.

— Хорошая, — сказала она наконец. — Только одна.

— Одна?

— Одна, — подтвердила Евдокия и вздохнула. — Вы всё сами, всё сами. Дом сами, магазин сами, за прилавком сами. Иной раз думаю: Ольга Дмитриевна, ну хоть бы кто вам чаю налил.

— Так, — сказала я. — А нальёшь?

Она засмеялась, вытерла глаза и налила. Чай был горячий, с мятой, и я выпила его до дна, как человек, который всё решил.

Решение было дурацкое: разобраться на месте. Дом есть, магазин есть, родня есть, загадочный наряд для племянницы тоже есть. Такие задачи мне попадались; правда, в них не приходилось менять столетие.

За окном стемнело. Прося — та самая, которую посылали за отваром, — принесла его и поставила на стол. Я поморщилась, но выпила, потому что голова болела, а спорить с человеком, который тебя жалеет, глупо.

— Спите, Ольга Дмитриевна, — сказала она, укрывая меня. — Утром всё будет виднее.

— Утром, — согласилась я.

Меня разморило сразу, мягко и обморочно, как в детстве после температуры. Внизу ещё ходили, звякали посудой, и заводной голос распоряжался ужином.

«Разберёмся», — сказала я себе. Как с платьем: сначала швы, потом посадка. А если не выйдет — перекроим.

Чужое имя

Солнце лежало на полу жёлтой полосой, и в полосе крутилась пыль, и всё было так мирно, что первые две секунды я думала, что мне просто снился странный сон про люк.

Потом я вспомнила всё. И полезла под подушку искать телефон. Рефлекс.

Под подушкой лежала книга. На ночном столике свеча и флакон. На стене часы в деревянном футляре, и маятник в них стоял, будто их тоже забыли завести. Ни розетки, ни выключателя, ни одной знакомой вещи.

Затылок отозвался тупой болью. Здесь болело не так, как я привыкла.

Я натянула капот, висевший на стуле, сунула ноги в туфли и подошла к умывальнику. В кувшине была холодная вода, рядом висело полотенце с петухами. Над умывальником висело зеркало.

В зеркале стояла женщина лет тридцати пяти. Тёмные волосы стянуты на затылке, кожа после болезни желтоватая, глаза серые и спокойные, совершенно не мои. Красивая. Только не я.

Я подняла руку. Она подняла руку. Я поискала у виска родинку, к которой привыкла за тридцать шесть лет: родинки не было. Зато на указательном пальце, у самого сгиба, сидела маленькая мозоль от иглы. Такая же, как у меня.

— Ну и ну, — сказала я вслух.

Голос был чужой, низкий и с хрипотцой. Я попробовала ещё раз, уже смелее:

— Раз, два, три.

Женщина в зеркале сказала то же самое и посмотрела на меня с большим сомнением. Я на неё не обиделась: у меня к себе тоже были вопросы.

Я села на табурет и решила подумать как следует, пока никто не пришёл. В конце концов, думать — это единственное, что у меня здесь работало безотказно.

Итак. Я не сплю, не брежу и не сошла с ума, потому что сумасшедшие не проверяют родинки и не ищут под подушкой телефон. Значит, что? Значит, я умерла там, у люка, а проснулась здесь, в чужом теле, в чужом доме, в чужом году.

Такое бывает не со мной, а в книжках, которые девчонки в ателье обсуждали на перерыве, и я над ними посмеивалась: взрослая женщина открывает глаза в чужом платье и через две страницы уже знает, кому кланяться, кого спасать и в кого влюбляться.

Вот тебе и посмеялась, Мария Андреевна.

С другой стороны, если посмотреть без истерики: тело хорошее, голова своя, пальцы помнят работу. Дом, в котором я лежу, стоит. Пирог внизу пахнет. Кто-то там ходит и распоряжается, и, судя по голосу, ему и в голову не приходит, что мир рухнул.

И рухнул ли он? Мой мир — да, рухнул, тут спорить не о

чем. Но мой мир и до этого падал не раз: когда я в двадцать восемь осталась с машинкой, столом и долгом за аренду, мне тоже казалось, что всё кончилось. А потом я открыла ателье и восемь лет как-то жила.

Значит, так. Сокрушаться можно, но недолго и не на людях: здесь слёзы — это не жалость, а новость, а новостей в этом доме и без меня хватает. Плакать я буду потом, если захочется, и лучше в подушку.

А сейчас у меня есть дело, и дело это простое: встать, одеться, позавтракать, посмотреть на людей и понять, что тут к чему. Всё остальное — потом.

— Ну что, Ольга Дмитриевна, — сказала я женщине в зеркале. — Будем жить.

Женщина посмотрела на меня и, кажется, согласилась.

Дверь отворилась без стука, и вошла Евдокия с подносом: чашка, тарелка с дымящейся кашей, ломоть хлеба.

— Проснулись, Ольга Дмитриевна, — сказала она с удовольствием. — Вот и славно. А я вам кашу. Нынче каша хорошая, с маслом.

— С маслом — это аргумент, — сказала я и села на постель.

Евдокия поставила поднос, поправила на мне одеяло и потрогала лоб сухой тёплой ладонью.

— Не горячая, — сообщила она. — Слава богу.

Каша была горячая, с маслом, и я поняла, что голодна так, как, кажется, не бывала никогда.

— Евдокия, — сказала я с набитым ртом. — А кто у нас в доме?

— Наталья Дмитриевна, — начала она, загибая палец, — барышня Варвара, я при вас, Аксинья Петровна в ключницах... — Она махнула рукой. — А там Прасковья, Глаша, повар, прачка, швея, всех и не перечтёшь.

— Швея? — переспросила я.

— Швея, — подтвердила Евдокия. — При доме. Барышнины платья и всё такое.

Я чуть не сказала, что это очень удобно, но вовремя вспомнила, что я тут не консультант, а больная.

— И все они, — сказала я, — сейчас знают, что я проснулась?

— Все, — сказала Евдокия без всякого сочувствия. — К обеду полный двор знать будет.

— Прекрасно.

— А что вы хотели, Ольга Дмитриевна. Дом небольшой, людей много, новостей мало.

Я засмеялась.

— Наталья Дмитриевна, — сказала я, — какая она?

Евдокия подумала.

— Громкая, — сказала она наконец. — Не кричит, а слышно. И скоренькая такая: пока другие решают, она уж послала за пирогом. — Она понизила голос. — Вам скажу как есть: дом на ней держится. Только она этого не знает.

— А барышня?

— Варвара Алексеевна, — Евдокия расплылась. — Огонь. Рыжая, в маменьку. Веснушками мучается, хотя веснушки — это божья благодать, я так считаю. Учиться не хочет, а читает всё подряд. И язык у неё...

— Острый?

— Как нож, — с гордостью сказала Евдокия. — С гостями за столом — беда одна. Один раз так ответила соседу, что он поперхнулся и больше не приезжал.

— А что она ему ответила?

— А что он её про чтение спросил. «Барышня, — говорит, — вы всё книжки читаете, а что в них, в книжках-то, пишут?» А Варвара Алексеевна: «Пишут, Пётр Афанасьевич, что выбирать сено на зиму надо загодя».

Я чуть кашей не подавилась.

— А он?

— А что он? Сидел красный. У него, сказывают, сено в то лето сгнило.

— Мне она уже нравится, — сказала я.

— И мне, — вздохнула Евдокия. — Только с ней до беды недалеко.

— Какой беды?

Евдокия помялась настолько, чтобы я поняла: есть.

— Девушка на возрасте, — сказала она. — Сами понимаете.

Я не поняла, но расспрашивать не стала: и так было видно, что про это она говорить не хочет.

— Ешьте, — сказала она. — Ложку за меня, ложку за барышню Варвару, а то я не отстану.

Я доела кашу и откинулась на подушку. За окном был мокрый снег, двор, две голые липы и поленница под навесом. Всё стояло на месте и никуда не плыло, и вот это было самое странное.

— Ольга Дмитриевна, — сказала Евдокия, забирая поднос. — К вам Аксинья Петровна собирались.

— Пусть приходят.

— Они у нас строгие, — предупредила она. — Вы уж не обижайтесь: они не со зла. Они так разговаривают.

Дверь отворилась, и вошла немолодая женщина в тёмном платье и белом переднике, со связкой ключей на поясе и с платьем на руках.

— Вот и пришли, — сказала я и вдруг поняла, что знаю, как её звать. Не так, как знают имя из чужих слов, а по-другому: будто видела её тут всегда, будто она тут и стояла, пока я болела. — Здравствуйте, Аксинья Петровна. Я уж думала, вы меня так и не проведаете.

Она остановилась в дверях.

— Проведала бы, — сказала она. — Да мне нынче не продохнуть: двое суток без присмотра, а в доме гости.

— Это я знаю, — сказала я. — В доме всё вверх дном, а отвечать вам.

Аксинья положила платье на стул и чуть склонила голову, будто я сказала именно то, чего она ждала.

— Ну, слава богу, — проговорила она. — А то Наталья Дмитриевна сказывали, будто вы всё забыли.

— Кое-что забыла, — сказала я. С ней темнить было бесполезно: она держала на поясе ключи и смотрела на меня, как на смету. — Семь дней как отрезало. А до того помню. Простите, Аксинья Петровна: я знаю, что вы при доме в ключницах и что вас тут все слушаются, а как мы с вами раньше разговаривали — не помню.

— Как разговаривали? — Она поджала губы, но в глазах мелькнуло что-то похожее на смех. — Как с людьми. Вы у меня ничего дважды не просили.

— А вы мне не перечили?

— Ни разу. — Она помолчала. — Так что поправитесь — начнём заново.

— Договорились.

— Вставать изволите? — спросила она. — Сами или подсобить?

— Подсобить. Я ещё не разобралась, где у этого платья перед.

Губы у неё дрогнули.

Дальше началось одевание, и я в нём участвовала, как мебель: подавала руку, когда просили, поворачивалась, когда велели, и старалась не мешать профессионалу. Сорочка из тонкого полотна, чулки, юбки, туфли из-за ширмы.

— Корсет, — сказала Аксинья.

Корсет был старый, крепкий, с китовым усом. Она затяну-

ла шнур, и представления мои о дыхании оказались поверхностными.

— Дышите глубже, Ольга Дмитриевна.

— Дышу, — сказала я. — Насколько могу.

— Можете глубже.

— Аксинья Петровна, я тут как книга в переплёте.

— Так и надо, — сказала она сурово. — Все так ходят.

Она накинула мне на плечи шаль, взяла гребень и уложила волосы, заколов гребень у виска. Потом отступила на шаг и сложила руки.

— Ну вот. Хороша.

Я взглянула в зеркало. Женщина в тёмном платье смотрела спокойно и чуть насмешливо, и она мне всё больше нравилась.

— Спасибо, Аксинья Петровна.

— Не за что. — Аксинья помолчала и заговорила другим голосом, без сухости: — А теперь я вам вот что скажу, Ольга Дмитриевна, покуда мы одни.

— Слушаю.

— В людской про вас болтают.

— И что болтают?

— Что барыня встала не та. — Сказала она это без осуждения, как говорят о погоде. — Глаша сказывала, будто вы ночью кого-то звали. Прасковья сказывала, будто вы про год спрашивали. А Прасковья у нас женщина почтенная, язык у неё один, зато длинный.

— И что теперь?

— Теперь я велела держать языки за зубами. — Аксинья поджала губы. — Только вы мне вот что скажите, Ольга Дмитриевна: вы и вправду не помните?

— Не помню, — сказала я. Врать ей было незачем, и она это, по-моему, оценила.

— Семь дней горели, — сказала Аксинья. — Немудрено.

— А вы мне верите?

— Я ключница, — сказала она. — Мне верить не положено. Мне положено знать, сколько чего в доме и кто чего стоит. А что до вас, я вас двадцать лет знаю, вы мне ещё в уезде, девчонкой, платье о гвоздь порвали и сказали, что так и было.

Я засмеялась, и она тоже, коротко и совсем не строго.

— Гвоздя не помню, — сказала я. — А верю вам на слово. Это считается?

— Считается, — сказала Аксинья. — На первый раз.

— И ещё одно. Александр Авдеевич к вечеру приедет, так он меня первым делом спросит.

— Обо мне?

— Обо всём. Он всегда спрашивает. — Она подняла на меня глаза. — Я ему скажу, что вы слабы и что вам ещё лежать да лежать.

— А если я выйду к столу?

— Тогда я скажу, что вы вышли, а я не успела вас удержать. — Она усмехнулась. — Мне за это будет, ну да не впер-

вой.

— Спасибо, Аксинья Петровна.

— Не за что. — Она взялась за дверь. — Коли что забудете, гляньте на меня и ждите. Я подскажу, как прежде бывало.

Она вышла и притворила дверь.

Я не стала дожидаться, пока она передумает.

В коридоре за стеной кто-то ходил, внизу звенели посудой, и оттуда доносился весёлый женский голос.

Я вышла в коридор.

Он был длинный, светлый, с паркетом и дорожками. У окна в торце стояла девушка в утреннем платье, и первое, что в ней было видно, — коса. Рыжая, густая, ниже пояса, она лежала у неё на плече, и от этого Варя казалась совсем юной, как девочка, которую только что причесали к празднику.

— Варвара, — сказала я.

Имя пришло само, вместе с памятью: девчонка в буфете, сахар в кулаке, ободранная коленка и веснушки, которых тогда было ещё больше. Вот она, только выросла и стала злиться на весь уезд.

Она обернулась так резко, что подол мотнуло.

— Тётушка? — Глаза у неё были сухие, зато щёки горели, и веснушки и впрямь шли от щеки до щеки, через нос. — Вам ли вставать? Маменька сказала, что вам ещё неделю лежать.

— Это она от любви, — сказала я. — Когда человека любишь, тебе всё кажется, что без тебя он непременно пропа-

дёт. — Я присела на подоконник, потому что стоять было ещё тяжело. — А ты что здесь стоишь? Тут дует.

— Когда она волнуется, она преувеличивает вдвое, — подхватила Варя, — а когда сердится, то втрое. Я это вычислила ещё в двенадцать лет. По пирогам.

— По пирогам? — не поняла я.

— Если с капустой, значит, она на кого-то сердится. Если с яблоками, значит, устала. — Варя вздохнула. — Сегодня с яблоками. Значит, устала, но всё равно будет делать вид, что нет.

— А стою я здесь потому, что думается, — добавила она.

— И как думается?

— Скверно. Я вчера всю ночь думала и до сих пор не додумала.

— О чём же?

Она вскинула голову, собираясь ответить колкостью, но посмотрела на меня и ответила правду.

— О Григории Ивановиче. Это наш сосед, из Покровского. Он у нас бывает с прошлой зимы: приезжает по делам к маменьке, — по крайней мере, так он говорит.

— И что же он сделал?

— Вчера он был у Смирновых, — сказала Варя. — Сани, сказывают, стояли у крыльца до вечера. А у Смирновых, если вам интересно, три дочери на возрасте, и старшая, представьте себе, совершенно без веснушек. — Она подумала и прибавила с достоинством: — Это, я полагаю, считается

большим преимуществом.

Вот оно что.

— Варенька, — сказала я тише. — Погоди сердиться, я тебя не браню. Ты мне лучше вот что скажи: он тебе нравится? И скажи мне правду, а не так, как ты маменьке говоришь.

Она усмехнулась так, будто я спросила, умеет ли она читать.

— Он мне противен, — сказала она. — У него лошадь противная, сюртук противный, и он в этом сюртуке стоит, как палка, забытая в сенях. И говорит он с расстановкой, будто читает по складам, а сам думает, что говорит умно.

— Днём, — сказала я, — у всех нас есть сюртуки и лошади, и все они противные. Это нетрудно. А ночью человек остаётся один, и ночью он думает не про сюртук. Что ты думала ночью?

Варя покраснела так, что веснушки стали почти незаметны.

— Ночью я была глупая, — призналась она. — Ночью я ещё умела считать, что он просто занятой человек и что у Смирновых он по делу.

— А теперь?

— А теперь я посчитала иначе, — сказала Варя. — У Смирновых три дочери и, сколько я знаю, хорошие зубы. А я одна и бесприданница. — Она сказала это спокойно, как сказала бы про погоду. — Мне маменька не говорит, но я слышала, о чём она молится.

Вот тут мне стало не смешно.

— Варенька, — сказала я и взяла её за руку, потому что она вдруг стала очень маленькой. — Ты мне вот что скажи. Про веснушки. Анна Гавриловна вправду советует их выводить?

Варя оживилась, и лицо у неё сразу стало мальчишеское.

— Она привезла из Твери мазь и говорит, что надо тереть лимоном. Маменька сказала, что я и так хороша, а Анна Гавриловна сказала, что маменька говорит так из лени. Они после этого два дня друг с другом не разговаривали, но обе со мной разговаривали.

— А ты?

— А я думаю, что если их вывести, я буду бледная, как мыло, — сказала Варя с вызовом. — У нас в уезде все бледные, и никто от этого ещё не стал счастливее.

— Вот и я так думаю, — сказала я. — И знаешь, что я тебе скажу, Варенька? Веснушки — это солнечность, это когда человек на свету жил. Есть люди с лицом как облако, и, по секрету, с ними ужасно скучно.

Варя замерла.

— Правда?

— Правда. И ещё одно, если хочешь знать моё мнение. — Я не собиралась ничего говорить, но раз уж начала, так скажу. — Если человек ходит к Смирновым, гуляй по всему уезду. В одиночку. И пусть он смотрит, а ты смотри в другую сторону. Поверь мне: он быстрее спросит, куда это вы ходи-

те, чем ты — что он делал у Смирновых.

Варя смотрела на меня во все глаза.

— Это ваша тётушкина премудрость?

— Это общая, — сказала я. — Годится и здесь, и у меня в городе.

— А что у вас в городе?

— Там то же самое, — сказала я, — только платья дороже.

Варя засмеялась, громко и совсем не по-светски, потом оглянулась на дверь и зашептала:

— А вы вниз пойдёте?

— Пойду.

— Маменька расстроится, — сказала она. — Аксинья Петровна уже всем сказала, что вы лежите.

— Ну и пусть удивятся, — сказала я. — Это полезно, особенно тем, кто уже решил за меня, сколько мне лежать.

Варя задумалась — и её лицо стало совершенно счастливым, как у человека, которому пришла в голову замечательная мысль.

— Тётушка, — сказала она. — А пойдёмте со мной. Только не так, как маменька водит, а по-настоящему.

— Показывай, — сказала я. — Только говори негромко: у меня в голове ещё гудит.

— По-настоящему — это по порядку. Я вам покажу дом и расскажу, кто здесь кто. У меня всё равно других дел нет, — прибавила она и тут же поправилась: — То есть дел у меня много, но все они скучные, а вы интереснее.

— Варвара Алексеевна, — сказала в ужасе Глаша с ведром из-за угла. — Наталья Дмитриевна узнают, что вы тут в коридоре...

— Глаша, — сказала Варя, — ты сегодня слишком честная.

— И вы тоже, — ответила Глаша и потопала вниз.

Варя взяла меня под руку и пошла вперёд, придерживая юбку.

— Значит, так, — сказала она деловито. — Внизу гостиная, там Анна Гавриловна с мужем. Анна Гавриловна женщина добрая, но у неё все разговоры про то, у кого что стыдно. Если она спросит про вашу болезнь, скажите, что лекарь вами доволен: она это любит.

— Спасибо, что сказала. Это мне и вправду пригодится.

— Муж её, Пётр Егорович, глух на левое ухо, и он этого страшно не любит. Поэтому говорите ему в правое и делайте вид, что всё как всегда.

— Тоже запомнила.

— А про Александра Авдеевича, — Варя понизила голос, — вы уж меня не выдавайте, но я его терпеть не могу. Он приедет к вечеру и будет всех хвалить, а потом уедет и сделает по-своему.

— А маменька?

— А маменька думает, что он человек дельный. — Варя сжала мою руку. — Вы ей не спорьте. Она начнёт держаться. Она когда волнуется, то держится так, что мне стыдно за весь

уезд.

— А если спросит, откуда я всё это знаю?

— Скажите, что вышли посмотреть на часы, — сказала Варя. — Они всё равно стоят.

Из-за двойных дверей внизу доносился смех, громкий, весёлый и совершенно не озабоченный ничьими бедами.

— Ну, — сказала Варя и подтолкнула меня вперёд. — Идите. Я за дверью постою. За вас.

Дом, где всё чужое

Двери были тяжёлые, двойные, обитые сукном, и за ними уже смеялись: женский голос, грудной и весёлый, и мужской, который больше слушал, чем говорил.

Я поправила шаль и взялась за ручку, и за дверью замолчали все разом, будто кто-то снял руку с клавиши.

Я вошла.

В гостиной, у стола с самоваром, сидели трое. Полная женщина в тёмно-вишнёвом платье и чепце с лентами подалась вперёд, приоткрыв рот. Рядом с ней сидел мужчина в сюртуке, седой, с красноватым лицом и добрыми глазами. Наталья сидела напротив.

— Ольга Дмитриевна! — Женщина поднялась так быстро, что столик под самоваром качнулся. — Голубушка вы моя!

Она пошла на меня, раскинув руки, и обняла так, что я на секунду утонула в шерстяной шали.

— Анна Гавриловна, — сказала я, когда меня отпустили. — Пётр Егорович. Здравствуйте.

Мужчина привстал и поклонился.

— Здравствуйте, здравствуйте, — сказал он. — А мы думали, вы не выйдете.

— Я и не собиралась, — сказала я. — Но лежать неделю — это, знаете, дорого.

— Чем же дорого? — удивилась Анна Гавриловна.

— Скукой, — сказала я.

Анна Гавриловна засмеялась так, что ленты на чепце подпрыгнули, и усадила меня рядом с собой, не выпуская моей руки.

— Вот за это я вас и люблю. Наталья Дмитриевна, а ведь она у вас совсем прежняя!

— Прежняя, — сказала Наталья и посмотрела на меня с той стороны, откуда её никто не видел.

Я впервые разглядела её как следует. Высокая, суховатая, в тёмном платье с белым воротничком, волосы уложены гладко, и в лице столько же усталости, сколько улыбки, — они у неё, судя по всему, жили вместе и давно друг другу не мешали.

— Пили чай? — спросила она у меня.

— Не успела.

— Тогда садитесь здесь. — Она показала на место рядом с собой. — И не спорьте, вы у нас гостья, вам положено страдать от нашего гостеприимства.

— Я согласна страдать, — сказала я.

— Отлично, — сказала Наталья. — Тогда начнём с пирога.

Она налила мне чаю и положила кусок пирога с такой скоростью, что я не успела даже сказать спасибо.

— Наталья Дмитриевна, — сказала Анна Гавриловна, — вы бы видели, как мы ехали!

— Как же вы ехали?

— Ужасно, душа моя. — И полился рассказ. — От станции ползли три часа. Пётр Егорович всё ворчал, что надо было через Заречье...

— Что? — сказал Пётр Егорович.

— Через Заречье, говорю, надо было ехать!

— Так там же мельник мост разобрал!

— Я то же самое и говорю!

— Ты говоришь, что надо было ехать, а я говорю, что там мост разобран, — с достоинством сказал он. — Это разные вещи.

Наталья посмотрела на меня и чуть подняла брови.

Я поняла, что про глухое ухо мне рассказывали не для того, чтобы я говорила громче, а чтобы я знала, что к чему.

— А что мельник? — спросила я, наклонившись к его правому уху. — Не чинит?

— Не чинит! — обрадовался Пётр Егорович. — Мужик упрямый. Я ему ещё в Петровки говорил: Фёдор, сделай ты мост. А он мне: так ведь зима, барин. Зима! А зимой, между прочим, мост чинить — самое время, потому что ездить по нему никто не ездит.

— Логично, — сказала я.

— Вот и я говорю!

И пошло, и поехало: мост, мельник, чьи-то дрожки, которые в прошлом году перевернулись у самой плотины, и ещё какие-то сани, которые кто-то кому-то не отдал. Анна Гавриловна рассказывала за двоих, а муж её ронял слова редко

и метко, и от этого рассказ держался.

— А у нас новость, — объявила наконец Анна Гавриловна. — Пётр Егорович привёз двух щенков. Гончие, душа моя, каких я отродясь не видела: уши до полу, а глаза человечьи.

— Гончие, — сказал Пётр Егорович с тихой гордостью. — От Соколова, из-под Старицы.

— И дорого они вам стали? — спросила я.

— Он за них просил полдеревни. — Пётр Егорович усмехнулся. — А я дал ему трёх своих выжлецов да ружьё. Он три дня думал, а после отдал.

— И не жалеете?

— Не жалею, — сказал он с одобрением. — Собаке деревня без надобности, а мне без собак и дом не дом.

— А как они? — спросила я. — На кровать пускаете?

— Супруга не велит.

— А вы?

Пётр Егорович оглянулся на жену и понизил голос:

— А я ночью пускаю. Они тихонько.

— Пётр Егорович! — всплеснула руками Анна Гавриловна. — Я же слышу всё!

— Слышит, — с уважением сказал он. — Удивительно.

Наталья засмеялась — громко, не сдерживаясь, — и я поняла, что вот так она и должна выглядеть всю жизнь.

— Маменька, — сказала от двери Варя, — а вы знаете, что у нас в гостиной преступление?

Все обернулись.

— Какое преступление? — спросила Наталья.

— Щенков, — Варя вошла и присела в реверансе, — пускают на кровать, а меня за это ругают. Я требую справедливости.

— Это не преступление, — сказала Наталья. — Это наглость.

— Есть ещё наглость — просить добавки, — сказала Варя и села, скромно сложив руки, с видом очень хорошей девочки.

Анна Гавриловна посмотрела на неё и умилилась.

— Варвара Алексеевна! Как вы выросли! Вся в маменьку!

— В маменьку, — весело согласилась Варя. — Только веснушки не в маменьку, а в кого-то из предков, которого я собираюсь выяснить и предъявить.

— Ах ты, господи, — сказала Анна Гавриловна. — Вот уж не беда. Был бы румянец.

— И он есть, — сказала Варя. — Я сильно румяная. Особенно когда маменька рассказывает, какая я была в три года.

— А что она рассказывает?

— Что я пряталась в буфет и ела сахар.

— Варвара, — тихо сказала Наталья, — вот сейчас ты у меня дождёшься.

— Я и так до вечера, — сказала Варя и улыбнулась тётке, как сговорщица.

Анна Гавриловна ещё раз подивилась её росту, потом пе-

решла к тому, к чему всегда переходила.

— А что в Твери? — спросила я, пока она не перескочила на меня. — Вы, верно, всё знаете прежде нас.

Анна Гавриловна оживилась.

— В Твери, душа моя, нынче все в шляпках с перьями. Представьте: перо, и непременно сбоку, и чем длиннее, тем лучше. Я нарочно заказала себе серую шляпку, а перо мне прислали из Москвы, вот такое, — она показала рукой в воздухе, — и муж говорит, что я в ней похожа на глухаря.

— Похожа, — согласился Пётр Егорович.

— Не слушайте его, он в этом ничего не смыслит.

— А где перо? — спросила Варя с живым интересом. — Привезли?

— Привезла, но у Твери на них цена, как на дрова.

— А сколько дрова стоят в Твери? — спросила Варя.

— Варенька, — сказала Наталья.

— Это для счёта, — объяснила Варя. — Мне надобно понимать.

— Надобно ей понимать, — повторила Анна Гавриловна и махнула рукой. — Всё тебе надобно. В мои годы мы не спрашивали.

— А вы от этого страдали? — спросила Варя.

— Ещё как.

— Вот я и спрашиваю, — сказала Варя. — Чтобы не страдать.

Анна Гавриловна открыла рот, закрыла его и засмеялась.

— Наталья Дмитриевна, вы её в город не отдавайте. Её в город отдать — город сгорит.

— Я это подозреваю, — спокойно сказала Наталья.

Потом разговор, как всегда бывает, повернул к тому, зачем людям разговор и нужен.

— А у вас что нового? — Анна Гавриловна наклонилась ко мне. — Что привезли, что продаёте? Я ведь к вам в город непременно заеду, мне к Рождеству нужно платье, а у вас всегда найдётся то, чего в Твери не сыщешь.

Я выдержала паузу, чтобы это выглядело не молчанием, а раздумьем.

— Материи пришли из Москвы, — сказала я. — И кружево, которого здесь не бывает. Как разберу товар, пришлю вам посмотреть. Вы лучше меня знаете, что вам к лицу.

Анна Гавриловна всплеснула руками.

— Вот за это я вас и люблю! Иная бы целый час говорила, что у неё в лавке, а вы сразу — пришлю. Ту пелерину, что я у вас прошлой осенью взяла, до сих пор вспоминают: все спрашивают, где шили.

— Рада, что она вам служит.

— Служит! — Она обернулась к мужу. — Пётр Егорович, помнишь пелерину?

— Помню, — сказал он. — Ты в ней в Тверь ездила, и у тебя на обратном пути колесо лопнуло.

— Ах, оставьте ваши колёса.

— А что с колесом? — спросила Варя.

— Лопнуло, — сказал Пётр Егорович. — Пополам.

— И что вы делали?

— Сидели.

— Долго?

— Часа три.

— И о чём говорили?

Пётр Егорович задумался.

— Не помню, — честно сказал он. — Кажется, ни о чём.

— Вот это, — сказала Варя, — самое страшное, что я слышала за неделю.

В гостиной стало весело. Анна Гавриловна вытирала платком глаза, Наталья улыбалась, а Пётр Егорович смотрел на свою жену с таким видом, будто она сказала что-то очень умное, и был совершенно счастлив.

— Вы всё охотитесь, Пётр Егорович? — спросила я, потому что разговор снова подбирался ко мне.

Он поставил чашку.

— Охочусь, матушка. Только уж не так, как прежде: колено не пускает. — Он пристукнул ладонью по правой ноге. — В прошлом году с лягавой по первому снегу пошёл, а к вечеру меня в сани несли. Смеялись всем уездом.

— И напрасно смеялись, — сказала Наталья.

— Напрасно, — согласился он и посмотрел на неё с уважением. — Вот вы, Наталья Дмитриевна, всегда скажете как отрежете.

Он помолчал, повертел чашку и прибавил:

— А что же ваш опекун? Я слышал, он нынче к вам собирался.

Наталья не переменилась в лице. Только чашку поставила ровнее.

— Собирался. К вечеру обещал.

— Дельный человек, — сказал Пётр Егорович без всякого выражения. — Держит всё в руках.

— Держит, — согласилась Наталья и вдруг улыбнулась. — Только руки у него для этого коротки, а он всё равно держит.

Пётр Егорович крякнул.

— Вот вы как.

— Вот я как, — сказала Наталья. — А что, разве я неправа?

— Правы, — сказал он и потянулся к чаю. — Только я этого не говорил.

Варя смотрела в свою чашку и улыбалась в чашку, как человек, у которого есть свои причины улыбаться.

Анна Гавриловна поднялась.

— Ну, душа моя, нам пора, покуда светло.

Прощались долго. Анна Гавриловна ещё раз обняла меня, пообещала писать и непременно заехать в город, Пётр Егорович поцеловал обеим руки, Варя присела в реверансе и получила за это ещё один вздох о том, как она выросла.

Я осталась стоять у окна. За стеклом был мокрый снег и та же дорожка от крыльца к воротам, и по ней как раз вели лошадей.

Наталья вернулась не скоро: в передней ещё хлопали двери, кто-то бегал с вещами. Она вошла в гостиную тихо, будто надеялась, что я уже ушла.

— Пойдём, — сказала она. — Поговорим.

Мы поднялись наверх, и она провела меня не в мою спальню, а в свою — небольшую комнату с кроватью под пологом, туалетом и креслом у окна. На подоконнике лежала раскрытая книга, на туалете стояли пузырьки, и всё здесь было аккуратное, непышное и очень жилое.

— Садись, — сказала она и села сама. — Только, Оленька, отвечай мне честно.

— Постараюсь.

— Ты зачем вышла?

— Мне стало лучше, — сказала я. — И я хотела видеть, где я живу.

— Ты видела. — Она помолчала и добавила без нажима: — Ты спросила Петра Егоровича про охоту. Про гончих, про колено. Ты за тридцать шесть лет ни разу его об этом не спрашивала.

Сказано было по делу. Я даже зауважала.

— После болезни я многого не помню, — сказала я. — Ты это знаешь не хуже меня. Я боюсь ошибиться при людях, поэтому и спрашиваю про то, что человек сам любит рассказывать. Гончие, шляпки. Это не опасно, Наташа.

— Ах, Оленька... — Она отвернулась к окну. — Так меня звала только маменька. — И, помолчав: — И ещё я тебя

очень прошу: не говори при людях про память. Никому. И мне не говори, когда нас могут услышать.

— Почему?

— Потому что до вечера ещё надо дожить, — сказала она тихо.

Я села в кресло, потому что ноги у меня и вправду устали.

— Хорошо, — сказала я. — Тогда объясни мне то, что я, по-твоему, должна помнить. Что с имением?

Наталья молчала.

— Наталья Дмитриевна. — Я сказала это ровно. — Я тебе сестра и старшая. Что с имением?

Она взяла с подоконника книгу, посмотрела на неё и положила обратно.

— Заложено, — сказала она наконец. — Я в бумагах не разбираюсь, этим всегда муж занимался, а теперь Александр Авдеевич.

— И что?

— И ничего, — сказала Наталья удивлённо. — Он был брат моему мужу, он человек дельный, он мне в доме ничего дурного не сделал. Он и сено продаёт, и мельницу, и всё это ведёт. Я в это не лезу.

— А деньги?

— Деньги идут, — сказала она. — Он говорит, что идут.

— А ты видела, сколько?

Она поджала губы, будто я спросила неприличное.

— Оленька, это не женское дело.

— Это дом твоей дочери, — сказала я. — Значит, женское.

Наталья села на край кровати и сложила руки на коленях.

— Муж меня не посвящал. Он говорил: твоё дело — дом и Варенька, а деньги — моё. — Она помолчала. — Я и жила, как он велел. А когда его не стало, остался Александр Авдеевич.

— И что он говорит?

— Он говорит, что всё устроится, — сказала Наталья, и по её голосу я поняла, что она в это верит. — Что надо только подождать и не мешать ему делать дела.

Вот теперь мне стало ясно, где мы стоим. Не в разорённом доме, а в доме, где женщина с прямыми плечами три года верит человеку на слово, потому что тот однажды сказал, что всё будет хорошо.

— Покажи мне хоть что-нибудь, — попросила я. — Векселя, письма, расчётные книги. Что у тебя есть?

— Есть шкатулка, — сказала Наталья нехотя. — В ней то, что при муже осталось. Я её не открываю: там его рука, а я... — она запнулась, — я не хочу читать про счета его рукой. Мне это почему-то больно.

— Тогда открою я, — сказала я. — Сегодня после ужина.

Наталья подняла голову.

— Оленька, — сказала она, и в голосе впервые за день послышалась настоящая просьба, — я тебя не браню, слышишь? Я тебя очень прошу: не выходи сегодня к ужину.

— Выйду.

— Оленька!

— Наташа. — Я постаралась, чтобы голос звучал спокойно. — Меня весь уезд уже видел сегодня в гостиной. Ты сказала Анне Гавриловне, что я прежняя. Если я весь вечер просижу наверху, выйдет хуже: подумают, что мы что-то скрываем.

— И что с того, что подумают?

— А то, что люди всегда думают то, что им выгодно, — сказала я. — Пусть думают, что я вежливая женщина, которая после болезни осторожна в словах.

Она долго смотрела на меня, и я видела, как в ней борются две привычки: та, что велит прятать, и та, что велит держать спину прямо перед людьми.

— Если ты так решила, — сказала она наконец, — то молчать и слушать.

— Молчать и слушать.

— И я тебя прошу: ни слова про память, про город, про магазин.

— Ни слова.

Внизу зазвенели посудой. Наталья встала, одёрнула платье и поправила платок у горла, и я увидела, как к ней возвращается то, что никуда и не уходило: порода.

— К шести накрываем, — сказала она. — Приходи, Оленька, как будешь готова. — Она задержалась в дверях. — Я тебя не браню. Я боюсь.

Она вышла, а я ещё посидела в её кресле.

За окном синело, снег перестал, и в тишине я услышала, как со стороны дороги зазвенели бубенцы: сначала далеко, потом ближе, потом совсем близко, у самых ворот.

Внизу всё заходило, застучало, захлопало.

Приехал человек, которому в этом доме не смеют перечить.

Долговая книга

Шаги пронеслись мимо моей двери и стихли на лестнице. Потом внизу хлопнуло, загудело, и по дому пошёл тот особый шум, какой бывает, когда приезжает человек, которого ждут и боятся.

Я приоткрыла дверь и стала слушать.

— С дороги, с дороги, Александр Авдеевич, — говорила Наталья, и голос у неё был выше обычного. — Вы уж простите, у нас сегодня просто…

Мужчина ответил негромко, и слов я не разобрала, но Наталья отозвалась сразу, будто её поторопили, и заговорила быстрее.

Я прикрыла дверь. В коридоре уже зажгли свечи, и по стене пошли длинные тени. Всё это очень походило на исторический сериал, и мне было до крайности интересно, какая роль отведена в нём мне.

В пятом часу пришла Евдокия с платьем на руках — тёмным, шерстяным, с высоким воротом — и с чулками, туфлями и шкатулкой с гребнями.

— Наталья Дмитриевна спрашивали, не прислать ли кого вам помочь, — сказала она, раскладывая всё на стуле. — Я сказала, что сама вас соберу.

— Правильно сказала. А то ещё придут и начнут меня спасать.

— И то, — согласилась Евдокия. — Спасать вас — это дело неблагодарное.

Она шнуровала меня сзади, туго и привычно, и я стояла посреди комнаты, глядя в зеркало, как одна женщина делает из другой барыню.

— А о ком это в людской больше всего говорят? — спросила я.

— Известно о ком. — Евдокия расправила мне складку на плече. — Об Александре Авдеевиче. Прасковья сказывала: прежде, при барине, он раза два в год бывал, а как барин скончались, так и каждый месяц.

— Зачем он ездит?

— По бумагам. — Она затянула крючок у ворота. — Так Прасковья говорит: всё бумаги, всё бумаги. И что Наталья Дмитриевна после его приездов по три ночи не спят.

— А что, — спросила я, — он у вас тут всех так объезжает?

— Всех, — сказала Евдокия. — Только всех по-разному. С Прасковьей он ласков, потому что она повариха и знает, где что лежит. С Глашей не разговаривает вовсе: не по чину. А с Аксиньей Петровной говорит так, будто ей же и делает одолжение.

— И что Аксинья Петровна?

— А Аксинья Петровна ему отвечают вежливо и коротко. — Евдокия усмехнулась. — Они, когда сердятся, всегда коротко отвечают. Это у них вместо брани.

Она уложила мне волосы, заколола гребень у виска и отступила на шаг.

Я посмотрела на себя в зеркало. Из зеркала смотрела женщина в тёмном, с гладко убранными волосами, суховатая и спокойная, и я подумала: с этой дамой никто не станет разговаривать свысока. Я бы не рискнула.

— Пойдёмте, Ольга Дмитриевна, — сказала Евдокия.

— Пойдём.

По лестнице я спускалась не торопясь, и в столовой, где накрыли на четыре прибора, уже горели свечи в двух шандалах. Ужин был простой, но подан как следует: супник, жаркое на блюде, соленья в глубокой миске, хлеб под салфеткой, и от всего этого пахло так, что я впервые за два дня почувствовала себя живой.

За столом сидели трое. Наталья сидела очень прямо. Варя крошила хлеб и не поднимала глаз. А во главе стола, на месте покойного барина, сидел человек лет пятидесяти, поджарый, длиннорукий, с сединой у висков, в тёмном сюртуке хорошего сукна, и ел медленно и аккуратно, будто ему некуда спешить.

— Ольга Дмитриевна, — сказал он и поднялся, не слишком поспешно. — А нам говорили, вы лежите.

— Лежала. — Я села. — Надоело.

Наталья опустила ложку в тарелку, тихо, но так, что звук услышали все.

— Пусть сидит, если силы есть, — сказал Александр Ав-

деевич и сел первым, будто это он тут распоряжался стульями. — За столом места много.

— Благодарю вас, — сказала я. — А то я уж испугалась, что придётся ужинать стоя.

Он поднял на меня глаза, и я увидела, что шутку он понял, но не одобрил. Люди такого склада, как он, не любят шутить за столом: им кажется, что смех — это расход.

— Позвольте, — сказал он и сам подал мне прибор: вилку, нож и ложку, начищенные до блеска. — Мы уж без церемоний, по-родственному.

«По-родственному» здесь, как я поняла, значило, что церемонии отменяются для всех, кроме него.

Ужин пошёл дальше так, будто я не вошла, а всегда тут сидела. Разлили суп; лакей в белых перчатках обошёл стол; в шандалах оплывал воск.

— А что ваш лекарь? — спросил Александр Авдеевич, не поднимая головы от тарелки.

Я хотела ответить сама, но Наталья успела раньше.

— Говорит, после жара память слабая. — Она сказала это спокойно, будто речь шла о чужой болезни. — Иное помнит, иное нет.

— Бывает, — проговорил он, прожевав. — Мне в Твери доктор сказывал, что от такого и вовсе ума лишаются.

Он сказал это без нажима, и за столом стало тише.

— Значит, мне повезло, — сказала я. — Пока лишаться нечем.

Варя фыркнула в тарелку и тут же сделала вид, что поперхнулась. Наталья посмотрела на неё, но ничего не сказала, и я заметила, что уголок её рта дрогнул.

Александр Авдеевич поднял на меня глаза. Они были светлые, спокойные, и в них не было ни любопытства, ни участия, а только счёт: сколько меня, какая от меня польза и какая может выйти беда.

— Дай Бог, — сказал он.

Дальше ели молча. Я смотрела на руки. У Натальи пальцы держали нож слишком крепко. Варя держала свои под столом. Александр Авдеевич обошёлся с жарким так, будто тарелка была его собственная, и это сказало мне о нём больше, чем голос.

— Александр Авдеевич, — сказала я, — я слышала, вы Варе опекун.

Ложка Натальи звякнула о тарелку.

— Опекун-с, — сказал он. — По завещанию брата. До замужества.

— А почему до замужества?

Он улыбнулся одними губами.

— Потому что так написано, Ольга Дмитриевна. На то и бумага, чтобы её держались.

— Оленька, — сказала Наталья совсем тихо, — поешь.

Я взяла ложку. Суп был вкусный, и это было почему-то самое неприятное за весь вечер: дом боялся, а суп был вкусный.

— Варвара Алексеевна, — сказал вдруг Александр Авдеевич, — а вы что примолкли?

Варя подняла голову.

— Я слушаю, дядюшка.

— То-то и видно, что слушаете. — Он отставил тарелку. — К Рождеству у нас будут гости. Люди не свои, уездные, и смотреть они будут на вас. Уж будьте к тому дню в порядке.

— В порядке, — повторила Варя. — Это как же, дядюшка?

— А это как всегда, — сказал он благодушно. — Платье получше, лицо поспокойнее, разговоров поменьше. За столом сидеть прямо и на вопросы отвечать так, чтобы не пришлось за вас краснеть.

— А если спросят про погоду?

— Стало быть, ответите про погоду.

— А если спросят, люблю ли я читать?

— Ответите, что читаете по праздникам, — сказал Александр Авдеевич. — Это всякой девушке к лицу.

Варя посмотрела на него долгим взглядом. Потом на мать. Потом на меня, и в этом взгляде было столько всего, что я даже не стала его разбирать.

— Хорошо, дядюшка, — сказала она. — Буду читать по праздникам.

Наталья не проронила ни слова. Она смотрела в тарелку и держала спину так, будто её обмерили линейкой.

Александр Авдеевич вытер руки салфеткой и отодвинул

стул.

— А после ужина, Наталья Дмитриевна, пришлите мне в контору долговую книгу. И свечей там прибавьте: я посижу.

— Хорошо, — сказала Наталья.

Контора была в конце коридора, за поворотом, и дверь в неё осталась приоткрыта на палец. Оттуда шёл свет, и слышался голос — ровный, негромкий, с паузами, после которых человек напротив отвечает сразу, чтобы пауза не затянулась.

Я не собиралась подслушивать. Я шла к себе, но у поворота остановилась, потому что услышала имя Вари.

— Варвара Алексеевна — барышня взрослая, — говорил Александр Авдеевич. — Семнадцать лет. В её годы иные уж замужем.

— Она ещё в куклы играет, — сказала Наталья.

— В куклы, — согласился он без злобы. — А векселям нашим не до кукол. Я вам, Наталья Дмитриевна, третий раз считаю и в четвёртый сочту: закладная в Москве, проценты не плачены с прошлой осени, срок вышел.

— Я знаю, что вышел.

— Знаете. И я знаю. — Слышно было, как он отодвинул книгу. — Я вам не враг, Наталья Дмитриевна, я вам родня по мужу. Мне бы тоже хотелось, чтобы девочка вышла по сердцу. Только по сердцу нынче не платят.

— Я могу продать серебро. Ложки, подносы, у маменьки были…

— Серебро ваше — триста рублей, если найдётся покупатель. А долгу девять тысяч.

Наталья замолчала, и в этой тишине было слышно, как в шандале шипит фитиль.

— Человек, о котором я вам говорил, — заговорил Александр Авдеевич ровнее, — вдовец, не беден, из-под Твери. Дом у него полная чаша, а хозяйки нет. Ему не приданое нужно, ему нужна жена, которая в доме порядок знает. Возьмёт Варвару — я долг закрою его деньгами, и имение останется ваше. Не возьмёт — приедут описывать, и что тогда с вами будет, я не берусь сказать.

— Ей семнадцать, — сказала Наталья.

— Ей семнадцать, — повторил он. — А вам сколько было, когда вас отдали?

Долгая пауза.

— Это другое дело, — сказала Наталья очень тихо.

— То-то и оно, что другое. — Александр Авдеевич вздохнул. — К Рождеству он приедет смотреть. До того времени я вас не тороплю. Только уж вы, голубушка, сами с девочкой поговорите, а не я.

Наталья заплакала. Тихо, почти беззвучно, так, что я скорее услышала, чем поняла.

Я стояла за поворотом, прижавшись плечом к стене, и в голове стучало одно: девочка тут не невеста. Девочка тут платёж.

Под ногой скрипнула половица.

— Кто там? — сказал Александр Авдеевич.

Я успела отойти на три шага и сделать лицо, будто ищу, где тут что, прежде чем дверь конторы отворилась и он выглянул в коридор со свечой в руке.

— Ольга Дмитриевна. — Он не удивился. — Что ж вы не спите?

— Воды шла попросить.

— И вода вам понадобилась у самой конторы?

— У вас тут темно, а я плохо помню дом, — сказала я. — Вы же слышали: память слабая.

Он посмотрел на меня, и по лицу его было видно, что он знает: не воды. И что говорить об этом не станет.

— Слышали? — спросил он просто.

— Слышала.

— Ну и хорошо. Меньше объяснять.

Он вышел и притворил за собой дверь конторы, и мы остались в коридоре вдвоём при одной свече.

— Будете мне говорить, что девочку так нельзя? — спросил он.

— Буду.

— Говорите. — Он сложил руки за спиной. — Я, Ольга Дмитриевна, в этом доме ничего себе не беру. Я взял опеку по бумаге и несу её, как крест, и мне за это не платят ни копейки. Хотите, сочтите сами: девять тысяч долгу, триста рублей вашего серебра и имение, которое в иной год даёт четыре сотни.

— Я считать умею, — сказала я. — Только у вас счёт всегда выходит в одну сторону.

— Тем лучше, — сказал он. — А выходит он всегда в ту сторону, где его ведут. Вы вот что, Ольга Дмитриевна: заведите себе тетрадку. Увидите, как оно считается, когда считают не для доклада.

Я тогда не поняла, что он говорит это не мне, а себе, и вспомнила его слова много позже, когда увидела его тетрадку своими глазами.

— Вы женщина взрослая, старшая в семье. Вот и подумайте, что для девочки лучше: вдовец с деньгами и с домом, где она будет хозяйкой, или вся семья по миру, а она потом в кухарки.

— А третьего вы не допускаете?

— Третьего? — Он поднял бровь. — Какого же?

— Не знаю ещё, — сказала я. — Я второй день как встала.

Он усмехнулся — впервые за вечер по-настоящему, и я увидела, что смеётся он так же аккуратно, как ест.

— Вы ей это говорили? — спросила я. — Про вдовца?

— Я ей об этом не говорил ни слова. — Он помолчал. — Я говорил про Рождество. Про Рождество всякий поймёт.

На лестнице скрипнула ступень. Мы оба обернулись.

Варя стояла на третьей ступеньке снизу, в накинутом на плечи платке, и не была ни бледной, ни убитой. Она была злая. Коса у неё была перекинута на спину, глаза сухие, и подбородок поднят так высоко, что я испугалась за её шею.

— Варвара Алексеевна, — сказал Александр Авдеевич без удивления. — Слышали, о чём мы с тётушкой?

— Слышала, дядюшка. — Она сошла ещё на две ступеньки. — Вы говорили про Рождество, а я стояла и слушала, как вы считаете. У вас очень хорошо считается.

— Считать — дело полезное, — сказал он.

— Тогда я тоже посчитаю, — сказала Варя. — Вы сказали: девять тысяч. Маменька сказала: серебро триста. А сколько стоит имение, если его продать по-хорошему, вы не сказали ни разу.

В коридоре стало очень тихо.

— Имение заложено, — сказал Александр Авдеевич.

— Заложено, — согласилась Варя. — Только заложено оно в Москве, а продаётся здесь. И я бы хотела это видеть своими глазами. — Она выговорила это ровно и, по-моему, сама себе удивилась.

Он смотрел на неё долго. Потом перевёл глаза на меня, будто искал, чья это работа.

— Варвара Алексеевна, — сказал он наконец, — вам бы с вашим языком не замуж выходить, а в полк идти.

— Я подумаю, дядюшка.

— Подумайте, — сказал он и пошёл вниз, не задержавшись возле неё.

Внизу он негромко позвал человека.

— Книгу из конторы возьми. Долговую. В сани положи, под ковёр.

Я услышала, как отворилась дверь конторы, как человек прошёл туда и обратно, как что-то тяжёлое легло в сани. Потом хлопнула наружная дверь, и во дворе заскрипели полозья.

Варя всё стояла на ступеньке. Теперь, когда его не было, вся её храбрость разом вышла, и она села прямо на ступеньку, как маленькая.

— Тётушка, — сказала она. — Он ведь не шутит.

— Не шутит.

— Маменька говорит, что надо. — Она подняла на меня глаза. — А вы что скажете?

Я смотрела на неё, на её веснушки, которых она стыдилась, на руки, сжавшие платок, и понимала, что за два дня этот дом не дал мне в руки ни одной вещи, кроме ложки. Но ложку я держала сама.

— Скажу, что до Рождества ещё далеко, — проговорила я. — И что за это время много чего можно пересчитать.

— Пересчитать?

— Пересчитать, — сказала я. — Ты сама только что это сделала лучше меня. Девять тысяч, триста рублей, имение и вдовец. Это не судьба, Варенька, это счёт. А счёт можно проверить.

Варя вытерла нос платком и посмотрела на меня уже спокойнее.

— А если проверять нечего?

— Тогда придумаем, что делать с тем, что есть, — сказала

я. — Со счетами всегда так: пока их не открыли, они больше, чем есть.

— Маменька говорит, что лучше не трогать.

— Маменька права: не всякую бумагу надо трогать руками в первый же вечер.

— А во второй?

— А во второй — смотря какая бумага, — сказала я. — Иди спать. Утром подумаем вместе.

Она ушла наверх, и я слышала, как закрылась её дверь, тихо и осторожно, будто Варя боялась, что кто-нибудь услышит.

Я вернулась в коридор и заглянула в контору. На столе остался светлый прямоугольник от книги, полка над столом была пуста, и в шандале догорала свеча, которую он велел прибавить.

Книга уехала из дома. Вместе с ней уехали и цифры, которыми здесь всё держалось.

Я постояла над пустой полкой, потом вернулась к себе, села на кровать и сделала то, что делаю всегда, когда всё вокруг слишком хорошо считается. Взяла бумагу, перо и стала писать.

К утру у меня был список из шести пунктов. Пятый был мой любимый: «спросить Аксинью, кто в уезде покупает землю и не боится ли он бумаг».

А шестой я написала и зачеркнула: «спросить, что за человек вдовец». Зачеркнула потому, что это как раз узнать

было проще всего: в уезде про вдовцов говорят охотнее, чем про урожай.

Зеркало

Спать мне не хотелось. Я лежала в темноте, слушала, как внизу ходит по половицам дом, и думала о своём списке из шести пунктов, и ни один нельзя было сделать до утра.

Днём, за столом, Варя держалась так, что я за неё порадовалась: шутила, поднимала брови, отвечала Анне Гавриловне так, что та хохотала до слёз. Я тогда решила, что девочка бойкая и что она в этом доме ещё задаст всем жару.

А перед вечером я увидела её на лестнице. Гости уже уехали, внизу звенели посудой, и она шла по ступеням, держась за перила, медленно, как ходят, когда думают, что никто не смотрит. Лицо у неё было не злое и не грустное, а пустое, какое бывает у человека, который весь вечер работал и наконец остался один. Я тогда подумала: значит, за столом она работает. И ещё подумала, что работа эта ей дорого стоит.

Потом я встала, накинула шаль и вышла в коридор.

Дверь в комнату Вари была приоткрыта, и в щели лежала полоса света.

Я постучала двумя пальцами и всё равно вошла не сразу. Комната оказалась меньше моей: кровать под ситцевым пологом, сундук, пяльцы у окна, в углу икона с теплящейся лампадкой. На полу валялась кукла с оторванной рукой, а на подоконнике сидели ещё три, расставленные по росту, и все они смотрели в одну сторону.

Варя сидела перед зеркалом на низком табурете, в сорочке и накинутой на плечи шали, и разглядывала себя. Свеча стояла прямо перед ней, и от этого света лицо у неё было жёлтым, а веснушки тёмными, как брызги чернил по бумаге.

— Можно?

Она вздрогнула и схватила шаль у горла.

— Уходите, — сказала она, не оборачиваясь. — Пожалуйста, тётушка, уходите.

Я вошла и прикрыла за собой дверь.

— Я не хотела, чтобы вы так видели, — сказала она в зеркало. — Это некрасиво.

— Что некрасиво?

— Всё.

Я села на край её кровати и положила руки на колени, как садятся, когда собираются просидеть долго.

— Ну, — сказала я. — Рассказывай, чем ты тут занимаешься в двенадцатом часу.

— Ничем.

— Варенька.

Она помолчала, потом ответила тихо, будто признавалась в чём-то постыдном:

— Считала.

— Что считала?

— Веснушки.

Я ждала, что она засмеётся, и она даже попробовала, но не вышло.

— И сколько?

— Двести девятнадцать.

— На лице?

— На лице сто сорок. Остальные на шее и на руках. — Она чуть повернула голову, показывая. — Вот здесь особенно. И здесь. И вот тут, у самого локтя, целое созвездие.

— Созвездие, — повторила я. — Так и запишем: у тебя на руке созвездие.

— Вы всё шутите, — сказала она с досадой. — А я не вижу, кому от этого легче.

— Мне легче, — сказала я. — Я сюда пришла всё равно не спать, могу и пошутить.

Она посмотрела на меня в зеркало, и в этом взгляде были все её семнадцать лет: и злость, и мольба, и готовность сейчас же заплакать.

— У тебя горит свеча, — сказала я. — При свече они темнее, чем есть?

— Не выдумывайте.

— Я не выдумываю, я знаю. При свече всё не такое, как днём: и цвет, и лицо, и люди. При свече, если посмотреть на себя подольше, можно найти у себя что угодно, вплоть до горба.

— У меня есть горб?

— У тебя нет горба, — сказала я. — У тебя есть свеча, которую ты поставила прямо перед собою, чтобы себя разглядывать. Вот и весь горб.

Варя засмеялась коротко и зло, а потом утёрла нос рукавом сорочки, движением, за которое её, наверное, не раз бранили.

— Все так говорят, — сказала она. — Маменька говорит: «Ты у нас не красавица, зато добрая». Аксинья Петровна говорит: «Не красавица, зато рукодельница». — Она помолчала. — Я привыкла.

— Это ты повторяешь?

— Что повторяю?

— «Не красавица». Ты это часто говоришь?

Она не ответила и стала смотреть на свечу, на её длинный жёлтый язык.

— Я так думаю, — сказала она наконец. — Когда просыпаюсь. И когда молюсь. — Она подняла на меня глаза. — Это грех, да? В церкви так думать.

— Это глупость, — сказала я. — Не грех, а глупость. За глупость, насколько я помню, в церкви не отлучают.

— Вам легко говорить. Вас такую и на портрете написали бы.

— Меня такую никто не писал, — сказала я, и это была правда, только не та, которую она могла понять.

В коридоре послышались шаги, и в дверь постучали.

Вошла Наталья, а за ней Аксинья с чашкой на блюдце.

— Вот вы где, — сказала Наталья и остановилась, увидев меня на кровати, а Варю у зеркала в одной сорочке. — Варвара, помилуй, что за вид?

— Мы разговариваем, — сказала Варя и натянула шаль до подбородка.

— В двенадцатом часу? — спросила Наталья. — Аксинья, поставь на комод. — Она села рядом со мной и пригладила платье на коленях. — Что у вас тут?

— Ничего. Считаем.

— Что считаете?

— Веснушки, — сказала я.

Наталья посмотрела на меня с сомнением, потом на дочь.

— Варенька, — сказала она мягко. — Ты бы спать шла. Я тебе вот что скажу, покуда мы втроём: ты у меня не красавица, зато добрая и мастерица. Право, это в жизни дороже красоты.

Варя не отстранилась. Она стояла и принимала это, как принимают погоду.

— Не красавица, — сказала она послушно. — Зато хозяйственная.

— Вот и умница, — сказала Наталья.

— Наталья Дмитриевна, — сказала я. — Вы бы не говорили так при ней.

Наталья обернулась ко мне с искренним изумлением.

— Как так?

— Что она не красавица.

— Помилуйте, я говорю от чистого сердца! — Она даже руками развела. — Назвать её доброй и мастерицей — разве это худо?

— Худо, — сказала я. — Вы ей сказали: ты добрая. А она услышала: красавицей тебе не быть. Она это на себя наденет и будет носить. Долго носить, Наташа, сквозь все платья.

Наталья посмотрела на Варю, и в её лице что-то дрогнуло, но тут же выровнялось.

— Это и без меня всякому известно, — сказала она тихо, без злости, а как человек, которому неловко, что его поправили при дочери. — В уезде что скажут, то и пойдёт. Вы уж меня простите, Оленька, я не в укор. Только вы к Рождеству её снарядить помогите, а читать мне наставления я и сама могу.

— Снарядить помогу, — сказала я. — От вас одного прошу: до Рождества эту фразу не повторяйте.

— Какую?

— Про красавицу.

Наталья помолчала и вдруг сказала неожиданно просто:

— А что мне говорить?

— Говорите, что она хороша. Или не говорите ничего. Ничего даже лучше: она и так всё слышит.

Наталья встала и поправила платок у горла. По её лицу было видно, что она не согласна, но спорить при дочери не станет.

— К обедне пойдём утром, — сказала она. — Аксинья, посвети.

Дверь закрылась. Аксинья ещё постояла, собирая на поднос чашку, и у двери сказала, ни к кому не обращаясь:

— Барышню все любят. Просто она у нас жалостливая.

— Аксинья Петровна, — сказала я. — Вы вот что скажите. Маменька вправду всегда так говорит?

Аксинья поставила чашку на поднос и подумала.

— Всегда, — сказала она. — И покойный барин так говаривал. Только барин добавлял: «зато ума палата». — Она вздохнула. — Они добрые, Ольга Дмитриевна. Они от всей души. От этого и не переспоришь.

— Почему не переспоришь?

— А как вы переспорите человека, у которого за спиной все и вся? — Она взяла поднос. — Вы уж лучше делом. Слова тут как обои: пока не переклеили, будут висеть.

Она ушла, и коридор затих.

— Вы на маменьку не сердитесь, — сказала Варя. — Она вправду добрая. Она мне в прошлом году всю зиму платье перешивала и не спала.

— Я не сержусь, — сказала я. — Я сержусь на фразу. Фраза — она ничья, живёт себе и портит людям жизнь.

Варя посмотрела на меня, будто хотела что-то спросить, и не спросила.

— Сядь прямо, — сказала я. — Вот так. Руки опусти.

Она села, не понимая, зачем, но села.

— Теперь расскажи, что ты про себя знаешь. Только не «не красавица». По делу.

— Как это — по делу?

— Про фигуру. Про волосы. Что тебе в себе не нравится,

кроме веснушек.

Варя помолчала, собираясь с духом, и стала перечислять, как перечисляют урок.

— Полная, — сказала она. — Плечи вот тут. — Она тронула себя за плечо. — Шея короткая. Волосы рыжие, их ничем не прикроешь. — И добавила тише: — И смеюсь я громко. Маменька говорит, что так смеются только кухарки.

— Кухарки, между прочим, счастливее половины уезда, — сказала я.

— Это вы нарочно.

— Наполовину. — Я подтянула свечу и поставила её не перед зеркалом, а сбоку. — Ну-ка, повернись ко мне.

Она повернулась.

— Встань.

Она встала.

— А теперь пройдись.

— Куда?

— До двери и обратно. Как ты ходишь, когда никто не смотрит.

Варя прошла до двери и обратно — быстро, чуть сутулясь, придерживая шаль у горла, как старуха.

— Так и ходишь всегда?

— А как надо?

— Плечи. — Я показала. — Вот сюда. Голову не опускать. И не придерживай шаль, будто ты в ней виновата. — Я подошла и поправила шаль у неё на плечах, развернула её к

зеркалу. — Погляди. Это ты же, только на два пальца выше.

Варя смотрела на себя долго и молча. Потом выпрямила плечи ещё немного, сама.

— Правда, — сказала она тихо. — Как будто человек другой.

— Человек тот же. Просто он до сих пор смотрел на себя исподлобья.

Я подняла свечу и повела ею вокруг её лица: снизу, сбоку, потом чуть сзади.

Она отшатнулась.

— Что вы делаете?

— Смотрю. — Я смотрела на неё так, как смотрят на ткань перед раскроем, и говорила вслух, потому что иначе с ней было нельзя: она привыкла к другому. — Шея у тебя не короткая. У тебя подбородок опущен, вот и вся шея. Плечи хорошие, линия в них есть. Руки — эти? — Я взяла её руку. — Это не толстые руки. Это руки, которые ничего не держали, кроме пялец и книжки. Они мягкие, как у барышни, и это хорошо.

— А волосы? — спросила она тихо.

— А волосы у тебя цвет.

— Какой же это цвет… — Она усмехнулась. — Рыжий.

— Тёмная медь. — Я подняла прядь и посмотрела на свет. — При свече он коричневый, потому ты и думаешь, что он у тебя плохой. А днём, у лица, рядом с зелёным или тёмно-синим, он тебя всю освещает. У тебя глаза рядом с ним дела-

ются светлее, я это сегодня за столом заметила.

— За столом?

— За столом, — сказала я. — Ты сидела против свечи и крошила хлеб. И когда дядюшка сказал про платье, у тебя глаза стали зелёные, как у кошки, которая уже решила, что не дастся.

Варя засмеялась — громко, некрасиво и совершенно по-настоящему. Потом испугалась и посмотрела на дверь.

— Вот так и смейся, — сказала я. — Этот смех хорош. Его никаким платьем не испортишь.

— Маменька говорит…

— Маменька много чего говорит. Я тебе не правдой торгую, я говорю, что вижу. Разница есть.

Она опустила глаза и заплакала, но иначе, без воя, тихо. Я не стала её утешать: утешением тут не поможешь.

Я села на кровать и стала считать, чего у меня нет. Нет денег, нет прав, нет своего угла в этом доме, и я даже не знаю, где здесь берут материю и сколько она стоит. Зато у меня есть глаза и руки, а девочка эта пока ничего о себе не знает, и потому её можно сделать заново, как старое платье: распороть, перекроить по живой фигуре и посадить так, чтобы сидело.

— Тётушка, — сказала Варя, утираясь. — А можно так, чтобы… ну хоть немного?

— Можно. К Рождеству.

— А что для этого надо?

— Во-первых, спать, — сказала я. — Во-вторых, к обедне

идти в том, что есть, и не сутулиться. В-третьих, я поговорю с Аксиньей: где тут берут материю, сколько стоит и что можно взять в долг.

— В долг? — Варя вытерла нос. — Маменька не любит долгов.

— Маменька права. Но у нас уже есть долг в девять тысяч, а платье к Рождеству стоит меньше.

Она задумалась, потом кивнула.

— Тётушка, — сказала она вдруг другим голосом, будто вспомнила что-то, что держала в себе весь вечер. — Григорий Иванович вчера опять был у них. У Лизаветы. — Она смотрела в сторону, на свечу. — И сегодня утром ещё был.

— У Лизаветы — это у Смирновых?

— У Смирновых. — Варя помолчала. — Только к Смирновым он так, по делу. А к ней ездит иначе.

— И кто она?

— Старшая, — сказала Варя. — Её Лизаветой зовут. У них дом богатый. У них всё богатое.

И в том, как она это выговорила, было столько спокойного отчаяния, что я поняла: девочка уже всё про себя решила, и веснушки тут ни при чём.

— Варенька, — сказала я. — А что ты хочешь?

— Я не знаю, — сказала она честно. — Раньше знала. Раньше я хотела, чтобы он приехал и чтобы маменька его позвала к чаю. А теперь я хочу, чтобы он приехал и увидел, что мне всё равно.

— Это неплохое желание, — сказала я. — Оно даже полезное.

— Полезное?

— Полезное, — сказала я. — Пока ты хочешь, чтобы он увидел, как тебе всё равно, ты будешь держать спину. А там, глядишь, и правда станет всё равно.

Варя улыбнулась.

— Тётушка, а вы когда-нибудь с кем-нибудь говорили так, как я?

— Разговаривала.

— И что?

— И ничего, — сказала я. — Я тогда тоже сидела у зеркала и считала. Только у меня были не веснушки, а один зуб, который рос не туда.

Варя фыркнула.

— И что вы сделали?

— Вышла за человека, который через двадцать лет сказал, что он и не заметил, — сказала я, и это была почти правда. — Так что, Варенька, время работает на нас. До Рождества у нас целый месяц, а месяц — это очень много, когда человек наконец решил смотреть на себя правильно.

Я встала и подтянула шаль у неё на плечах.

— Спи. И свечу от зеркала отодвинь.

— Куда?

— Да хоть в угол, — сказала я. — Нечего на неё смотреть, как на свидетеля.

Она засмеялась, погасила свечу и легла.

У двери я обернулась.

— Варя.

— Что?

— Про Лизавету мне завтра расскажешь подробно. Где живут, кто отец, сколько у них людей в доме, что за дом. Всё.

— Зачем вам?

— На всякий случай, — сказала я. — В уезде, где три дочери на возрасте и один жених, сведения дороже приданого.

Она засмеялась в темноте — тихо, себе в подушку, — и я вышла, притворив дверь.

В коридоре я постояла немного. Где-то внизу ещё ходила Прасковья, звякала посудой, и пахло лавандой и остывшим пирогом.

Платье по фигуре

Ночью я пришла к Варе с ножницами.

Она открыла мне в сорочке, с шалью на плечах, и посмотрела на ножницы так, будто я пришла её стричь.

— Что это?

— Это ножницы, — сказала я. — В моём деле главный инструмент. Садись ближе к свету и доставай всё, что у тебя есть из платьев.

— Всё?

— Всё.

Она достала. На кровати выросла гора: тёмное шерстяное на праздник, коричневое на будни, ещё одно, серое, перешитое из материного, и то, в котором она была на смотринах два года назад и из которого, судя по лицу, выросла не только телом.

Я разложила их по очереди и стала смотреть.

Дело было не в платьях. Платья были хорошие: сукно крепкое, швы ровные, всё целое и всё чинено. Дело было в том, как они сидели. Воротники высокие, плечи срезанные, талия на два пальца выше, чем надо, — и Варя в них делалась квадратной. Не полной, нет. Квадратной. А квадратному человеку, как ни поворачивайся, всюду неловко.

— Так, — сказала я. — Вот это мы и переделаем.

— Маменька не позволит.

— Маменька сказала: снарядить к Рождеству. Я и снаряжаю.

— Она скажет, что это мотовство.

— А ты скажешь, что это перелицовка, — сказала я. — Перелицовка — это не мотовство. Это бережливость, которая выглядит хорошо.

Варя засмеялась, но всё-таки села.

Я взяла тёмное, то, что на праздник. Взяла ножницы. И через минуту в комнате стало тихо так, как бывает только тогда, когда кто-то один занят настоящим делом, а остальные боятся помешать.

— Тётушка, — сказала Варя шёпотом. — А вы правда умеете?

— Я восемь лет этим живу.

— Восемь лет, — повторила она с уважением. — А я думала, вы только в магазине.

— Магазин — это витрина. — Я отрезала воротник. — За витриной всегда кто-то стоит с ножницами.

Дверь скрипнула, и в щель просунулась голова Евдокии.

— Свет ещё нужен?

— Нужен. И ты нужна.

— А я думала, я спать пойду.

— Поспишь на том свете.

Евдокия вздохнула так, будто её оскорбили, и вошла.

— Что делаем?

— Перекраиваем. — Я показала. — Вот тут убрать, тут

прибавить, тут переставить талию. Как думаешь?

Она потрогала сукно, потом посмотрела на Варю, потом на меня.

— Аксинья Петровна узнают — будут браниться.

— Не узнают.

— Узнают, — сказала Евдокия с полной уверенностью. — Они всё узнают. Они у нас как погода.

— Тогда скажем сами. Утром.

— Ох, — сказала Евдокия. — Ох, Ольга Дмитриевна.

Но села рядом, взяла иглу и стала делать то, что я говорила, и делала она это так ловко, что я только диву далась: руки у неё были не крестьянские и не городские, а те самые, которые всё умеют и ничего не рассказывают.

Мы работали до третьего часа. Сукно было хорошее, шов шёл ровно, и понемногу на стуле вместо старушечьего платья стало появляться что-то другое: с открытой шеей, с мягкой линией плеча, с талией на своём месте.

— Вот тут, — сказала я. — Подержи.

Варя подержала.

— А теперь посмотри.

Она посмотрела в зеркало и ничего не сказала.

— Ну?

— Я не знаю, — сказала она тихо. — Я думала, будет не так.

— Как?

— Я думала, я буду видна вся. — Она повела рукой. —

Вот тут, тут. А вышло…

— Что вышло?

— Что я не знаю, где я, — сказала Варя и вдруг улыбнулась. — То есть я есть, а платья как будто больше.

— Умница, — сказала я. — Это и называется посадка. Платье не должно тебя показывать. Оно должно тебя держать.

Утром мы пошли к обедне.

Уездная церковь была светлая, выбеленная, с синими обоями и с полом, который вымыли так, что там можно было смотреться. Народу набралось много: бабы в платках — в левой стороне, господа — в правой, старухи — у стены, где образа.

Я стояла и делала то, что делали все, и это оказалось на удивление просто: кланяться, когда кланяются, молчать, когда молчат. Батюшка читал не спеша, голос у него был хороший, и пахло воском, ладаном и чужим мылом.

Варя стояла рядом с матерью. В новом платье.

Сказать, что на неё обернулись, значило ничего не сказать. Обернулись все. Не разом, а по очереди, как оборачиваются люди, которые не хотят показывать, что смотрят: сначала одна женщина, за ней соседка, за соседкой старуха под образами, и через минуту я слышала, как за спиной пошёл тихий, ровный, непрерывный шелест.

Аксинья Петровна стояла в двух шагах и держала молитвенник так крепко, будто собиралась им кого-нибудь стук-

нуть.

— Аксинья Петровна, — прошептала я. — Что говорят?

— Говорят, что Варвара Алексеевна в этом платье на барышню похожа, — сказала Аксинья, глядя в книгу. — Что платье, видать, из города.

— И?

— И что у нас, видно, завелись деньжонки. — Она подняла глаза от молитвенника. — Это они так радуются, Ольга Дмитриевна. Радуются люди.

— И это плохо?

— Это как посмотреть, — сказала она. — Коли денег нет, а говорят, что есть, — это очень плохо.

После обедни к нам подъехали двое: Смирновы, отец с сыном. Они поздоровались, поговорили о погоде, о том, что дорога стала, и я почувствовала, что сын всё время смотрит в сторону Вари — коротко, как смотрят, когда хотят потом рассказать.

А к обеду приехал Григорий Иванович.

Я знала, что он приедет, потому что Наталья с утра велела поставить лишний прибор, а Варя с утра же дважды выходила на крыльцо «подышать».

Григорий Иванович оказался молодым человеком лет двадцати пяти, в тёмно-зелёном сюртуке, с аккуратно причёсанными светлыми волосами и с той уверенной небрежностью манер, которая у одних выходит от воспитания, а у других оттого, что им всё всегда сходило с рук.

Варя не ошибалась: он и правда говорил с расстановкой, будто читал по складам.

— Наталья Дмитриевна, — сказал он, целуя руку, — я к вам по делу о мельнице. Но, вижу, у вас обед, и я не смею.

— Останьтесь, — сказала Наталья.

— Если позволите.

Он остался.

Мы сели. Варя пришла последней — нарочно, чтобы все уже сидели и чтобы можно было войти.

Она вошла, и в столовой стало тихо.

Платье было тёмно-синее, из того самого сукна, и оно делало с ней то, что и должно было делать: шея открылась, плечи стали линией, коса легла на спину тяжело и красиво, и при дневном свете из окна волосы у неё были не рыжие, а тёмной меди — я не ошиблась ни на волос.

Григорий Иванович посмотрел на неё. Потом посмотрел ещё раз.

Первый взгляд был быстрый, мужской, тот самый, который измеряет. Второй был длиннее, и в нём было уже другое: он будто считал заново то, что считал раньше, и выходило у него другое число.

— Здравствуйте, Григорий Иванович, — сказала Варя и села.

— Здравствуйте, Варвара Алексеевна. — Он поклонился чуть ниже, чем утром кланялся Наталье. — Вы сегодня… — Он поискал слово. — У вас сегодня платье хорошее.

— Благодарю вас. Тётушка перелицевала.

— Ах, вот что.

И он посмотрел на меня, и в этом взгляде было удивление и ещё что-то — как у человека, который увидел в чужом доме незнакомую дверь.

Обед пошёл хорошо. Суп, потом жаркое, потом пирог с яблоками, который Прасковья делала, по-моему, из чистого самолюбия. Говорили о дороге, о мельнице, о том, что мужики нынче не те и что сено дорого.

Варя держалась прекрасно. Она не сутулилась, не теребила салфетку, отвечала коротко и по делу, а когда Григорий Иванович спросил её мнение о чём-то, сказала:

— Я думаю, что если мельница стоит на реке, а мелет на две волости, то чинить её надо до того, как она станет, а не после.

Григорий Иванович поперхнулся, а потом засмеялся.

— А вы в делах разбираетесь, Варвара Алексеевна.

— Я читаю по праздникам, — сказала Варя и опустила глаза так скромно, что я чуть не подавилась пирогом.

Наталья смотрела на дочь и не знала, что делать с лицом: то ли улыбаться, то ли одёрнуть.

А потом всё пошло не туда.

Потому что зашла речь о Смирновых. Сначала просто: что видели их у обедни, что Лизавета Смирнова нынче хороша, что у них новый экипаж.

— Да, — сказал Григорий Иванович с удовольствием. —

Я у них третьего дня был. Николай Петрович показывал мне новый экипаж. Хорош, надо правду сказать, лучше нашего в уезде ни у кого нет.

— А что Лизавета Николаевна? — спросила Наталья из вежливости.

— О, Лизавета Николаевна… — Григорий Иванович улыбнулся. — Она мне всё про Тверь рассказывала. У них там родня, и она в эту зиму в Твери три бала пережила, и всё это, знаете, так живо, что я будто сам там был. — Он отставил бокал. — Я, признаться, таких барышень мало видел. Всё умеет: и на фортепьяно, и по-французски, и разговор вести. Учёная.

Стало тихо и неловко.

Варя не изменилась в лице. Она взяла салфетку и вытерла руки, аккуратно, по одному пальцу.

— Должно быть, ей очень идёт французский, — сказала она вежливо.

— Ещё бы! — сказал Григорий Иванович. — Она, представьте, на нём даже стихи читает.

— Прекрасно, — сказала Варя. — А я вот не читаю.

Он засмеялся, потому что не понял, и стал рассказывать дальше — про экипаж, про лошадей, про то, как Николай Петрович собирается в Тверь на ярмарку. Говорил он с удовольствием и ни разу не заметил, что за столом трое человек смотрят в тарелки.

Я смотрела на Варю. Она сидела очень прямо, держала

спину так, как я её учила, и это было хуже всего: она держалась безупречно, а глаза у неё были, как две погасшие свечки.

Когда обед кончился и Григорий Иванович уехал — уехал довольный, потому что ему никто не сказал, что он вёл себя как баран, — Варя ушла к себе.

Я пошла за ней.

— Не надо, — сказала она, не оборачиваясь. — Пожалуйста, тётушка. Я не плачу.

— Вижу.

— Я правда не плачу.

Она стояла у окна, и вид у неё был такой, будто она выиграла в карты и проиграла имение.

— Не в этом дело, — сказала она наконец. — Совсем не в этом.

— А в чём?

— Я надела платье, — сказала Варя. — Я держала спину, я сказала про мельницу, и он даже посмеялся, и он два раза на меня посмотрел. А потом он стал говорить о ней, и я поняла, что это всё равно.

— Всё равно?

— Да, — сказала она, и голос у неё не дрогнул, потому что она очень старалась. — Платье можно сшить, спину можно держать, а человека не перешьёшь. Он у неё в голове теперь, и вы его оттуда не вытащите, хоть кружева на нас навейте.

Я села на край кровати.

— Варенька, — сказала я. — А знаешь, что я заметила?

— Что?

— Что он про неё рассказывал, а сам дважды посмотрел на тебя и оба раза — на твой подбородок.

Варя фыркнула.

— Ну и что?

— А то, что мужчина, который чего-то хочет, этого своего не рассказывает, — сказала я. — Он рассказывает про неё, а смотрит на тебя, и это значит, что ты у него сильнее.

— Это вы сейчас что, из меня верёвки вьёте?

— Ага, — сказала я. — А ты не разговаривай, а слушай. У тебя теперь есть преимущество, которого раньше не было.

— Какое же?

— Он тебя запомнил, — сказала я. — А прежде он тебя не видел. И это, между нами, куда важнее, чем его рассказы про экипаж.

Варя постояла, потом села рядом, и мы сидели, слушая, как внизу убирают со стола.

— Тётушка, — сказала она. — А французский я не успею?

— Нет, — сказала я. — Французский за месяц не выучишь.

— Ну хоть что-нибудь?

— Причёску, — сказала я. — Причёску успею.

Она засмеялась — слабо, но по-настоящему, — и утёрла нос рукавом.

А я пошла к себе и села писать. Второй пункт из моего

списка я закрыла, а третий — про господский обед — переписала заново: «узнать, сколько в уезде мужчин, кроме Григория, и у кого из них умные жёны».

Первые деньги

Марья Ильинична приехала в среду, в самый скучный час, когда обед уже съели, а до вечера ещё далеко.

Я сидела в диванной с Варей и учила её держать спину, не отрываясь от книги. Получалось у неё неважно: она читала и забывалась, сползала, потом вздрагивала и выпрямлялась так, что у неё хрустело в шее.

— Тётушка, — сказала она. — А можно я буду горбиться, но красиво?

— Нельзя.

— А если я буду горбиться только у себя?

— Тогда я не узнаю, — сказала я. — А мне приятно знать.

В сени кто-то вошёл, и по звуку шагов было слышно, что человек вошёл робко и остановился, не зная, куда идти.

Глаша просунула голову в дверь:

— Ольга Дмитриевна, к вам Марья Ильинична. Из Малого.

— Кто такая?

— Соседка наша, — сказала Варя шёпотом. — Добрая. У неё дочь Настя. Она вам сейчас будет говорить, что заехала случайно.

Марья Ильинична вошла — маленькая, сухонькая, в коричневой шали, с лицом, которое всю жизнь было бы красивым, если бы не привыкло извиняться.

— Ольга Дмитриевна, голубушка, — сказала она с порога. — Простите, что без предупреждения. Я к вам по дороге совсем случайно.

— Здравствуйте, Марья Ильинична. Садитесь.

— Я на минутку.

Она села на самый край кресла, как садятся в доме, где боятся что-нибудь испортить, и четверть часа говорила о погоде, о том, что зима нынче поздняя, что её Настя совсем выросла и что в уезде все постарели, а она и не заметила.

Я слушала и ждала.

Потом она сказала.

— У нас к Рождеству смотрины, Ольга Дмитриевна, — проговорила она, глядя на свои руки. — Не такие, как у людей богатых, а так, по-родственному. Приедет один человек, вдовец, из-под Торжка. Небогатый, но порядочный. — Она помолчала. — Насте нужно платье.

— Платье нужно всегда, — сказала я.

— Оно у нас есть. — Марья Ильинична вздохнула. — Только оно страшное. Мы его в прошлом году сами перешивали, и я, видно, намудрила. Настя в нём как клумба. Она у меня тоненькая, а платье на ней стоит колом.

— А в город за платьем?

— В город надо ехать, а в город надо деньги. — Она подняла на меня глаза, и вот в этом взгляде уже не было ни извинения, ни игры, а была одна нужда. — Я слышала, что ваша племянница в новом платье на весь уезд хороша. Простите

меня, что я так прямо.

— Прямо — это хорошо, — сказала я.

— Я заплачу, — сказала Марья Ильинична быстро, — только, верно, мало. У меня деньги небольшие, а к весне, когда хлеб, я бы добавила.

Она замолчала и стала поправлять шаль, будто в ней что-то было не так.

— Я не торгую платьем, — сказала я, и она сразу поникла. — Я шью.

— А это разве не одно и то же?

— Нет. Торгуют тем, что лежит. А шьют человеку.

Марья Ильинична смотрела на меня и не понимала.

— Привозите Настю и платье, — сказала я. — Посмотрим.

Она ахнула, вскочила и стала благодарить так, будто я подарила ей десять рублей, а не согласилась посмотреть на девочку в дурном платье.

К вечеру в доме знали все.

Аксинья Петровна пришла ко мне в комнату с лицом человека, который идёт на войну не потому, что хочет, а потому, что долг.

— Ольга Дмитриевна, — сказала она. — Правду ли говорят, что вы будете шить на Марью Ильиничну?

— Правду.

— За деньги?

— За деньги.

Аксинья поставила свечу на стол так, чтобы ничего не сказать звуком.

— Ольга Дмитриевна, — проговорила она наконец. — Я вам не указчица и не советчица, вы старше меня по барыне и по крови. Но я вас вот о чём попрошу: подумайте, что скажут. В уезде двадцать дворов, и в каждом уже считают, как живёт дом. Ежели пойдёт слух, что баронская дочь шьёт соседке за пять рублей, то к Рождеству про нас такое напишут, что не отмоешься.

— А что напишут?

— Что в доме нет денег, — сказала она. — И будут правы.

Она, по-моему, ждала, что я стану спорить.

— Аксинья Петровна, — сказала я. — А что в этом худого?

Она открыла рот и закрыла.

— То есть как?

— Вот вы говорите: скажут, что денег нет. А это правда. Денег нет. Дом стоит, а денег нет. — Я подобрала под себя ноги, потому что разговор предстоял долгий. — Пока мы делаем вид, что они есть, у нас будут воровать так, что мы и не заметим. А когда все знают, что их нет, воровать будет нечего, зато и притворяться не надо: можно начать зарабатывать.

Аксинья смотрела на меня очень долго.

— Я вас двадцать лет знаю, — сказала она наконец. — Вы всегда были про запас. А теперь вы про другое.

— Я в городе пожила.

— Давно?

— Недавно, — сказала я. — Зато очень плотно.

Аксинья поджала губы, но я видела, что она уже не так сердита. Она взяла свечу и у двери сказала:

— Материи у нас две штуки хорошей. И лента есть. Заберу у Прасковьи — она её всё равно в кладовку к заговенью спрятала.

— Зачем у Прасковьи?

— Потому что лучше я, чем вы, — сказала Аксинья. — Мне Прасковья эдак вежливо отвечать не станет.

Наталья пришла вечером — тихо, прикрыв за собою дверь, будто и в собственной спальне боялась, что услышат.

— Оленька, — сказала она. — Прости, что я с этим. Ты уж не сердись.

— Садись.

Она села и долго молчала, разглаживая платок на коленях.

— Я знаю, что ты старшая, — сказала она наконец. — Я не то чтобы запрещаю. Я бы и не запретила. Просто мне страшно, и я тебе это говорю, а не запрещаю, потому что запрещать я тебе не имею никакого права.

Я, признаться, залюбовалась.

— Чего ты боишься, Наташа?

— Что станут говорить. Что Вареньку это заденет. — Она помолчала. — И ещё я боюсь, что ты возьмёшься, а у тебя не выйдет. И тогда в уезде будут смеяться не над Марьей Ильиничной, а над тобой.

— А если выйдет?

— Если выйдет, — сказала Наталья, — то мне придётся поверить, что тут можно жить иначе, чем мы живём. А я не знаю, милая моя, что я тогда стану делать со всем своим испугом.

Я взяла её за руку.

— А ты ничего не делай, — сказала я. — Ты просто пока не решай за меня заранее.

Наталья посидела ещё немного и ушла.

Настю привезли в пятницу.

Она оказалась тоненькой, веснушчатой, с косой, завязанной тесёмкой, и с тем особым выражением лица, которое бывает у девочек, которых мать учила быть кроткими.

Платье на ней и правда стояло колом.

— Ну-ка, — сказала я. — Прямо. Руки опусти. Хорошо. Теперь повернись.

Она повернулась.

— Кто тебе воротник кроил?

— Маменька, — сказала Настя шёпотом.

— Маменька? Не ты?

— Маменька.

— Значит, так, — сказала я. — Маменьку мы хвалим, но воротник снимаем.

Марья Ильинична ойкнула.

Я снимала и накалывала, снимала и накалывала, и Настя понемногу отмирала: сначала перестала сутулиться, потом

посмотрела на себя в зеркало, потом, когда я отвернулась за булавками, показала себе язык.

— Вот теперь я тебя вижу, — сказала я.

— Меня?

— Тебя. А то ты у меня была в платье, как в чужом доме.

Варя сидела рядом и помогала: смётывала, подавала, разбирала булавки по длине. Она делала это азартно и всё время косилась на меня.

— Тётушка, — сказала она шёпотом, когда Настя пошла переодеваться. — А сколько?

— Что сколько?

— Сколько вам заплатят?

— Пять рублей, — сказала я. — И лента от Марьи Ильиничны.

— Пять рублей, — повторила Варя с уважением. — Это же… это же два платья?

— Это одно, но хорошее, — сказала я. — А хорошее платье лучше двух, потому что его носят, а те лежат.

Платье я дошивала три ночи, но не подряд, а как получалось: днём примерки, ночью шитьё. Шилось легко, без усилия. Я не заметила, как руки сделали всё сами, а голова в это время думала о деньгах.

А в понедельник приехал Александр Авдеевич.

Он не прислал человека и не написал записку. Он приехал сам, прошёл в дом и застал меня в диванной, где на столе лежал кусок полотна, валялись булавки, и я, подвязав рукава,

ползала на коленях вокруг чужого платья.

В дверях он остановился.

— Здравствуйте, Ольга Дмитриевна.

— Здравствуйте, — сказала я, поднимаясь.

Он обошёл стол, посмотрел на платье, на булавки, на меня — на мои подвязанные рукава.

— Позволите спросить? — сказал он.

— Мне кажется, вы уже спросили.

— Да, — согласился он. — Тогда позвольте сказать.

Он сел в кресло, не дождавшись приглашения.

— Я приехал не за тем, чтобы бранить вас. Бранить вас у меня нет права, вы женщина взрослая и старшая в семье. Я приехал сказать, что вы делаете большую ошибку.

— Какую?

— Вы берёте деньги, — сказал он. — С соседки. За швейную работу. Вы понимаете, что это значит?

— Понимаю, — сказала я. — Это значит, что у соседки будет хорошее платье, а у меня пять рублей.

— Это значит, что баронская дочь шьёт за деньги, как портниха, — сказал он без нажима, как всегда. — А завтра на дверях этого дома, по которому лежит закладная, будет висеть вывеска. Вы подумали, что это сделает с Варварой Алексеевной? У неё смотрины. Её будут сватать. И всякая сваха, приехав, прежде всего спросит: а что, матушка её шьёт на соседей?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.